

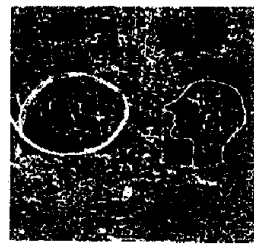
ОТЦЫ И ДЕТИ В АНТИЧНОСТИ

© 2012

А.В. Шипилов

Социальную реальность можно рассматривать как взаиморазличенность единиц социального — социалий, полагающих себя отрицанием других: всякое одно суть неинное, и чтобы не отличаться от себя/быть собой, ему необходимо отличаться от иного/не быть другим. Логическое различие выступает в форме аксиологического отрицания оппонента: чтобы обрести социальную идентичность, нужно занять позицию превосходства “мы” над “они”, которая закрепляется институционально и идеологически. Для античного социума моделью и модулем является полис — локальное самоорганизующееся сообщество взрослых мужчин, глав домохозяйств-ойкосов и монопольных обладателей гражданских прав. Свою свободу/господство они реализуют прежде всего по отношению к домочадцам — жене и детям. Те выступают в качестве *persona alieni iuris* — персонами чужого права, негражданами, тем *иным*, от которого отталкивается и над которым доминирует гражданский коллектив. Положение их структурно и эволюционно сходно, но разобрать в одной статье и оппозицию взрослого — детского, и оппозицию мужского — женского не представляется возможным, поэтому ограничимся анализом первой. Иными словами, речь пойдет о несовершеннолетних мужского пола.

В эпоху полиса статус несовершеннолетних был столь низким, что за ними не признавалось даже естественного права на жизнь (собственно говоря, и сама концепция “естественных прав” появилась гораздо позже — в имперском Риме). В Греции, будь то просвещенные Афины или суровая Спарта, право жизни и смерти над новорожденным имел отец. Плутарх рассказывает, что в Спарте глава семьи приносил ребенка в лесу — «место, где сидели старшие члены фило, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из девяти [тысяч] земельных участков, но слабых и уродливых детей кидали в “апотеты”, пропасть возле Тайгета. В их глазах жизнь новорожденного была так же бесполезна ему самому, как и государству, если он был слаб, хил телом при самом рождении». Оставленных в живых воспитывали соответствующим образом: “Если кто-нибудь наказывал мальчика и он рассказывал об этом своему отцу, то, услышав жалобу, отец счел бы для себя позором не наказать мальчика



ОТКУДА И КУДА

Шипилов

Андрей

Васильевич —

доктор культурологи, профессор кафедры философии, экономики и социально-гуманитарных дисциплин Воронежского государственного педагогического университета. Постоянный автор журнала.

E-mail:

skriptor@icmail.ru



вторично”; “Мальчиков в Спарте пороли бичом на алтаре Артемиды Орфии в течение целого дня, и они нередко погибали под ударами. Мальчики гордо и весело соревновались, кто из них дольше и достойнее перенесет побои; победившего славил, и он становился знаменитым”. Такого рода педагогические идеалы и практики определялись не только тем, что начиная с семилетнего возраста юношество воспитывалось в военизированных агелах (“стадах”), представлявших собой, наряду с сисситиями — объединениями общего стола, наследие мужских союзов. Спартанские матери в этом отношении вполне разделяли взгляды своих мужей и ставили интересы полиса выше счастья и самой жизни сыновей (плутарховские “Изречения спартанских женщин” представляют собой целую коллекцию соответствующих примеров). Дело в том, что старшинство и старость были тождественны — именно геронтам из герусии (совета старейшин) вместе с коллегией эфоров принадлежала реальная власть, так как прерогативы двух царей-басилеев были существенно ограниченными, а функции народного собрания-апеллы и вовсе ограничивались санкционированием предлагаемых законопроектов путем подачи голосов в буквальном смысле: принятие решения определялось по громкости криков за или против. Но и такое *право голоса* надо было еще заслужить: режим геронтократии не в последнюю очередь базировался на том, что полноправными спартиатами молодые люди становились в двадцать лет, но голосовать в апелле могли лишь по достижению тридцатилетия. Таким образом, правовой статус гражданина прямо определялся возрастом и становился тем выше, чем он становился старше. Неудивительно, что, по рассказам того же Плутарха (“Древние обычаи спартанцев”), “молодые спартанцы должны были почитать и слушаться не только собственных отцов, но заботиться и обо всех пожилых людях; при встречах уступать им дорогу, вставать, освобождая место, а также не подымать шум в их присутствии”.

Афинские обычаи, как известно, сильно отличались от спартанских, однако оппозиция “взрослые — дети” реализовывалась там не менее определенно. “Местный колорит” ограничивался тем, что практики обосновывались здесь солидными теориями. Афинский отец тоже поступал с новорожденным по собственному усмотрению (например, мог оставить его на обочине дороги) и имел на это полное право: согласно Сексту Эмпирику, «Солон дал афинянам закон “о неосуждаемых”, по которому он разрешил каждому убивать своего собственного ребенка». Однако если спартанцы обходились в подобных случаях без теоретических рассуждений и юридических предписаний, то Аристотель в “Политике” особо оговаривал: “Относительно выращивания новорожденных детей и отказа от их выращивания пусть будет закон: ни одного калеку выращивать не следует”. Платон в “Законах” не только провозглашал: “Лучшие люди выше худших, старики вообще выше юношей, поэтому и родители выше детей, мужчины выше женщин и детей, правители выше подвластных”, но и предлагал детально разработанный комплекс мер правового характера, позволявший обеспечить почитание старших. Если уж кто не боится наказания богов, которые всегда “... внимают мольбам родителей, обращенным против детей, — говорит Платон, — то на этот случай правильно было бы установить следующий закон: если кто в нашем государстве пренебрежет своим долгом по отношению к родителям

и не станет поощрять и исполнять все их желания скорее, чем желания своих сыновей, всех своих детей и даже чем свои собственные, пусть пострадавший известит, сам или через посланного, трех самых престарелых стражей законов, а также трех женщин — попечительниц браков. Они уж позаботятся и накажут обидчиков побоями и тюрьмой, если те молоды: это касается мужчин до тридцати лет, а женщин же можно подвергать тем же наказаниям, если они еще на десять лет старше”.

Аристотель в “Никомаховой этике” и “Политике” подчеркивает несамостоятельный статус несовершеннолетнего: “сын — это как бы часть отца, пока он не встанет в разряд взрослых мужчин и не отделится от отца”. Это не препятствует отцу любить своего ребенка, но важно понимать, что любовь к детям — это любовь к себе, “ведь свойственное каждому чувство любви к самому себе не случайно, но внедрено в нас самой природой”, так что “родители к детям питают дружбу как к самим себе (ведь отделенные от них их порождения — это как бы другие они сами)”. Соответственно, между детьми и родителями не может быть правовых отношений. “Право господ и отцов не то же [что правосудие граждан], хотя и подобно ему, — утверждает Стагирит, — в отношении самого себя не бывает неправосудности. Следовательно, здесь [между рабом и господином, детьми и отцом], нет ни нарушения, ни соблюдения государственного права, ибо мы видим, что [последнее] основано на законе и бывает у тех, кому по природе присуще иметь закон, а это те, кто поровну участвуют и в начальстве и в подчинении. Поэтому право[судие] существует, скорее, в отношении к жене, а не к детям и приобретениям [т.е. рабам]; это и есть семейное право, но и оно разнится от государственного”. Иными словами, у детей нет и не может быть в принципе никаких прав: они не выступают ни субъектом, ни даже объектом государственного или хотя бы семейного права, так что их положение еще показательней, чем у женщин: “Власть мужа над женой можно сравнить с властью политического деятеля, власть отца над детьми — с властью царя”. “Отношение отца к сыновьям имеет облик царской власти”, — повторяет Аристотель, а так как царь отличается от тирана, то уподобление царской власти — отеческой, а отцовской — царской для философа означает положительную оценку обеих. Царь заботится о подданных, а глава семейства — о детях, но при этом “любовь отца к сыну основана на неравенстве”, так что первый по собственному усмотрению располагает жизнью и свободой последнего (продажа детей в рабство почти по всей Греции была столь же распространена, как и убийство новорожденных; даже в Аттике в досолоновские времена отец имел полное право продать сына или дочь, как, впрочем, и брат — сестру).

Точно так же и римский *pater familias* произвольно распоряжался не только свободой, но и жизнью и смертью своих сыновей. Законы XII таблиц санкционировали убийство новорожденного, отличающегося физическим уродством; впрочем, и вполне здорового младенца можно было оставить умирать — это право называлось *ius exponendi*. Вообще говоря, ценностный статус (о правовом просто нет речи) малолетнего в глазах римлян был нулевым: по свидетельству Плутарха, согласно понтификальному праву, “нельзя было носить траур по ребенку, которому не было еще трех лет. По покойникам старше этого возраста можно было носить траур столько меся-



ОТКУДА И КУДА



цев, сколько лет ребенок жил”. Ребенок, таким образом, суть недочеловек, и относиться к нему как к человеку было бы не только нарушением закона, но и очевидным абсурдом, как то доказывает даже такой поздний и некоторым образом декадентский автор, как Сенека: “Младенец не больше способен воспринять благо, чем способно дерево или бессловесное животное. А почему нет блага ни в дереве, ни в бессловесном животном? Потому что нет разума. Потому же нет блага и в младенце: ведь и у него разум еще отсутствует”. Ну, а раз в младенце нет блага, то и горевать, если он вдруг скончается, нечего, и философ утешает своего чересчур чувствительного адресата: “Умер сын, чье будущее неясно, совсем крохотный; загублен самый короткий век. Мы ищем причин для страдания и хотим сетовать на судьбу даже неоправданно, когда она не дает нам повода к справедливым жалобам”.

Но и во взрослом сыне римское право/идеология/психология видело не самостоятельную личность, а объект собственности и власти отца (*patria potestas*). По замечанию Секста Эмпирика, “римские законодатели повелевают, чтобы дети были подчиненными и рабами отцов и чтобы имущество детей принадлежало не детям, а отцам, пока дети не достигнут свободы, наподобие купленных за деньги [рабов]”. И действительно, положение детей в некоторых отношениях было даже хуже положения рабов. Отцу принадлежала полная безраздельная власть над личностью и имуществом сына, он мог и продать его в рабство, и осудить на смерть; сын остается во власти отца даже тогда, когда находится на военной службе или занимает публичную должность, и хотя у него есть *ius commercium*, то есть право совершения сделок от своего имени, но все приобретаемое им становится собственностью отца. Даже если подвластному сыну выделяется какое-то имущество в самостоятельное управление, такой *resulium* предоставляется именно в управление и пользование, а собственником остается отец. В силу неправоиспособности сына ответственность за совершенные им правонарушения возлагалась на отца, который мог отвечать лично или выдать сына истцу головой; по той же причине сын и отец не могли вступать в правовые взаимоотношения, не могли совершать между собой никаких сделок, будь то даже сделка дарения. По отношению к отцу сын — никто, и ему не может принадлежать ничего, ибо он сам принадлежность; он не вправе ничего передать своим детям, ибо не обладает ни властью, ни собственностью — как говорит Ульпиан, “сын, состоявший под властью отца, не может составлять завещания, поскольку не имеет ничего своего, что им могло бы быть завещано”.

Конец подвластному положению сына могла положить только смерть отца, утрата одним из них гражданства или специальная процедура эмансипации. Относительно последней еще Моммзен в своей “Истории Рима” заметил, что “по римскому праву, рабу было легче освободиться из-под власти господина, чем сыну из-под власти отца”. Ведь раб становился свободным после однократной, а сын — только после троекратной эмансипации. В Законах XII таблиц указывалось: “Если отец трижды продаст сына, то пусть сын будет свободен [от власти] отца”. Однако освобождение сына еще не означает освобождения его собственных сыновей и даже сыновей сыновей: “Имеющий в своей власти сына и от него внука, вправе сына отпускать, а внука удержать в своей власти, или наоборот, удержать в своей влас-

ти сына, а внука отпустить, или всех сделать самовластными. То же разумеется и о правнуке". Пока сын не прошел всю процедуру эмансипации, его дети остаются под властью его же отца, и только *pater familias* вправе их освободить: "Тот, кто был зачат от сына, раз или два раза манципированного, остается под властью своего деда, хотя бы он и родился после третьей манципации своего отца, и таким образом может быть дедом и освобожден из-под отеческой власти и отдаваем в усыновление". Так что для сына гражданина приобрести свободу/правоспособность было, кажется, действительно сложнее, чем для раба, и если еще вспомнить, что даже после эмансипации отец сохранял право на пользование половиной имущества сына, то можно признать сущностную аутентичность рассуждений Катона Старшего, провозглашавшего, согласно Цицерону, что "старость внушает к себе уважение, если защищается сама, если охраняет свои права, если не перешла ни под чью власть, если она до своего последнего вздоха главенствует над окружающими ее близкими".

Однако так было далеко не всегда. В архаические, то есть, долинные времена, оппозиция "взрослые — дети", столь характерная для грекоримской классики, далеко не так интенсивна. Правда, фактического материала по данному вопросу почти нет, и приходится опираться на разного рода косвенные свидетельства и экстраполяции. Главным предположением здесь является то, что власть отца может стать властью господина лишь при условии, что малая семья станет господствующим типом базовой социальности, а этому в до- или протополисное время препятствуют определенные обстоятельства и институты. Миграционная и колонизационная активность населения Эллады периода "темных веков", гомеровской и архаической эпох вряд ли способствовала стабилизации и консервации социальных отношений, в том числе и семейных. Общественное устройство в значительной степени сохраняло гентильный характер, и принадлежность к сообществу — то, что позднее превратилось в гражданство, — была обусловлена включением индивида не столько в состав семьи, сколько в состав фратрии и филы. Большую роль играли возрастные классы и мужские союзы — товарищества молодых воинов, получавших воспитание и проходивших подготовку в организациях типа агел (во многих этнографически известных примитивных обществах обучение/социализация происходили в большей степени за счет сверстников, старших детей и/или широкого круга родственников, чем благодаря непосредственно родителям с их "любящим небрежением"). В дальнейшем эти союзы поддерживали внесемейные связи посредством сисситий/фидитий/андрий. (Следует заметить, что в Греции мужчины вступали в брак сравнительно поздно, что считалось нормой и даже идеалом: так, Платон в "Законах" устанавливал брачный возраст "молодого человека" в тридцать — тридцать пять лет, а Аристотель в "Политике" называл цифру тридцать семь.)

С другой стороны, в гомеровский период наблюдаются черты так называемой военной демократии, когда вожди-басилеи набирают дружины гетайров и клиентов и практически ежегодно отправляются грабить ближнее или дальнее зарубежье; в таких сообществах (эти "монархии" соответствуют антропологически описанным вождествам) военная власть преобладает над гражданской так же, как публичная правоспособность перевешивает семейную подчиненность. В этих условиях участвовать в совете старейшин, т.е. иметь доступ



ОТКУДА И КУДА



к власти, могли далеко не старые люди; как в свое время подметил Виппер (“Лекции по истории Греции”), в герусии гомеровского Агамемнона “сидят герои битв, люди молодые и средних лет, между ними только один старик, Нестор”.

Ярких примеров отцовской власти в гомеровских поэмах тоже незаметно. (Надо сказать, что и в классические времена у греков, в отличие от римлян, власть отца над сыном заканчивалась с совершеннолетием последнего. Сравнивая обычаи двух народов, Дионисий Галикарнасский подчеркивал, что “те, кто творил эллинские общественные порядки, назначили для попечения какое-то совсем краткое время, чтобы дети оставались под властью отцов: одни — вплоть до третьего года возмужалости, другие же — на период, пока дети остаются холостыми, а иные — пока их не внесут в официальные списки дема, как я узнал из законодательства Солона, Питтака и Харонда, чья мудрость достаточно засвидетельствована. <...> Римский же законодатель предоставил отцу, так сказать, полную власть над сыном и притом на всю жизнь — заключать его в темницу и бичевать, держать в оковах на полевых работах и, коли предпочтет, предать смерти, даже если сын уже занимается государственными делами, исполняет высшие должности или стяжал похвалы на почетном общественном поприще.”) И когда Платон в своей реставрации идеального полиса, ориентируясь на критско-спартанские рудименты архаики, рассуждал о детях и юношестве, он не случайно всеми силами минимизировал роль семьи и максимизировал роль государства (из одноименного диалога знаменитое: “Дети... должны быть общими, и пусть отец не знает, какой ребенок его, а ребенок — кто его отец”). И если заменить государственное принуждение, на которое так уповаet автор “Законов”, гентильным обычаем, то его футуристические идеи вполне будут соответствовать архаическим реалиям. (Можно проделать такой опыт, например, с высказыванием “дети больше принадлежат государству, чем своим родителям”, заменив “государство” на “род”, а “родителей” — на “семью”; в этом плане и другие платоновские идеи вроде контроля специальных “надзирательниц” и “попечительниц” вместе с должностными лицами-мужчинами за репродуктивным поведением молодых супругов, детскими играми, воспитанием и обучением молодежи, следует понимать не как мечту о тоталитаризме, а как воспоминание о родовом строе, где дети были заботой не столько самих родителей, сколько всех родичей, а значительная часть функций малой семьи возлагалась на боль- шесемейную общину.)

С еще большим основанием можно предположить сравнительно слабую выраженность противопоставления родителей и детей (конкретнее — главы семьи и сыновей) применительно к римской архаике VIII—VI вв. до н.э. Здесь тоже присутствовали и повышенная военно-колониционная активность (особенно следует отметить *veg sasgum* — “священную весну”, когда с периодичностью раз в двадцать один год молодежь примерно того же возраста высылали в качестве избыточного населения из общины для поселения на новых землях, в результате чего молодые люди, очевидно, приобретали самостоятельность), и жреческие привилегии (по Гаю, “выходят из отеческой власти дети мужского пола, если посвящаются в фламины Юпитера”), и минимизировавшая права домовладык царская власть (традиция связывает с именем Ромула создание отряда целеров — молодых

телохранителей рекса). Главное же то, что до V—IV вв. до н.э., до Законов XII таблиц (450 г. до н.э.), утвердивших линейный порядок наследования по мужской линии, и законов Лициния-Секстия (367 г. до н.э.), установивших пофамильный земельный максимум, основными структурами римского общества были возрастные классы, гентильные подразделения и воинские товарищества, а не семьи-фамилии, главы которых, соответственно, не обладали деспотической властью по отношению к детям.

Архаическая *familia*, была ли она малой семьей или большой домовою общиной, в экономическом и политическом отношении уступала родам (возможно, линиджам) — *gentes* и воинским товариществам (на соседской основе с сакрально-культовым оформлением) — *curiae*. Наделение земель производилась не по фамилиям, а “по мужам” (по два югера на взрослого мужчину), соответственно, сыновья при жизни отца являлись совладельцами семейной собственности, а *pater familias* не обладал *patria potestas*. В частности, отец не имел права жизни и смерти относительно новорожденных: согласно Дионисию Галикарнасскому, сам Ромул связал граждан новосозданной римской общины “обязательством воспитывать мужское потомство и первородных дочерей и не убивать никого из младенцев до достижения трех лет, за исключением случаев, если дитя оказывалось увечным или уродцем уже с рождения. Их он не воспрещал родителям выбрасывать, но при условии, что они предварительно покажут его пяти ближайшим соседям и все они одобряют. А на неповинующихся закону Ромул наложил разные наказания, в том числе и то, чтобы половина их имущества становилась общенародным достоянием”. Тем более не располагал отец полнотой власти над взрослыми сыновьями, а именно не мог продать женатого сына (традиция связывает это положение со вторым царем, Нумой Помпилием; Плутарх пишет: “Хвалят еще поправку к закону, разрешавшему отцам продавать своих сыновей: Нума сделал из него исключение в пользу женатых, если брак был заключен с одобрения и по приказу отца”). И разумеется, в куриатных комициях голос сына был равен голосу отца (точнее, голосовала курия в целом, но состояла она не из глав семей, а из всех мужчин призывного возраста, до реформ же Сервия Туллия *curia*, возможно, и вообще представляла собой мужской союз *iuniores* — молодых холостяков), а военачальники и сенаторы, находившиеся в положении *filius familiae*, имели достаточно рычагов, чтобы свести к минимуму власть своих домовладык: высокий статус лица в публичной, военно-политической сфере, до определенной степени снимал его низкий статус в сфере приватно-семейной.

Таким образом, пока степень реальности полиса как коллектива ойкосовладельцев, осуществляющих господство над всеми остальными категориями населения, начиная с собственных детей, сравнительно невелика, минимальна и степень этого господства; аналогичную картину мы видим и в случае, когда степень господства минимальна не еще, а уже. Такой чуткий барометр социальных изменений, как Еврипид, замечательно отразил в своих драмах начало кризиса полиса. Характерно, что уже в “Алкесте”, созданной еще до Пелопоннесской войны (438 г. до н.э.), на сцене появляются дети: у Евмела — сына главной героини — свой голос, свой монолог. Дети также играют немаловажную роль в “Медее” и “Текубе”, а в “Просительницах” детская тема обыграна со всех сторон и не скупясь на приемы: так,

А. Шипилов
Отцы и дети
в античности



ОТКУДА И КУДА



хор аргосских матерей сокрушается о детях погибших (семерых, что против Фив), которые не только присутствуют здесь же, но и мимически сопровождают продолжительный дуэт Матери и Отрока, фиванский же глашатай и вовсе заявляет: “Долг первый мудрого — любить детей /Потом отца и мать, потом отчизну”, поставив тем самым детей впереди не только родителей, но и полиса. Наконец, в “Ионе” хор поет настоящий ювенильный гимн: “Счастья высшего начала, /Нерушимого для смертных, /Нет иного, как в чертогах /Детских глаз сиянье: радость /Видеть нежный цвет детей, /Чтоб, сокровища наследье /От отцов приявши, дети /Детям отдали своим. /В бедах дети — это сила, /Дети в счастье — улыбка, /На войне они отчизне /И опора и спасенье... /Не давай ты мне богатства, /Царских зал раззолоченных! /Дай мне вырастить на славу, /Дай взлелеять мной рожденных. /Жизнь бездетных ненавистна: /Этой жизни не желай; /С самым скромным достояньем /В детях счастье для меня”.

Аристофан поднимает детский вопрос с другой стороны — со стороны родителей, и естественно, в комическом ключе. В “Облаках” спор отца и сына о литературе (кстати, о Еврипиде) переходит в драку: “На слово — слово, брань — на брань, он вскакивает с места /И ну душить, и ну давить, и мять меня и тискать!”, — рассказывает Стрепсиад (отец) хору. Фидиппид (сын) возражает, что побил родителя за дело, прибавляя: “И доказать могу, что сын отца дубасить вправе”. И, действительно, доказывает: “Фидиппид. Меня от речи ты отвлек, я к мысли возвращаюсь /И вот о чем тебя спрошу: меня дитятей бил ты? Стрепсиад. Да, бил, но по любви, добра тебе желая. Фидиппид. Что же, /А я добра тебе желать не вправе точно так же /И бить тебя, когда битье — любви чистейший признак? /И почему твоя спина побоям неповинна, /Моя же — да, ведь родились свободными мы оба? /Ревут ребята, а отец реветь не должен? Так ли? /Ты возразишь, что это все — обязанность малюток. /Тебе отвечу я: “Ну, что ж, старик — вдвойне ребенок”. /Заслуживают старики двойного наказания, /Ведь непростительны совсем у пожилых ошибки. Стрепсиад. Но не в обычае нигде, чтоб был сечен родитель. Фидиппид. А кто обычай этот ввел — он не был человеком, /Как ты да я? Не убедил речами наших дедов? /Так почему же мне нельзя ввести обычай новый, /Чтоб дети возвращать могли родителям побои? /<...> Стрепсиад. И все-таки не бей! Потом винить себя же будешь. Фидиппид. С чего же? Стрепсиад. Как теперь меня, потом тебя обидит, /Когда родится, твой же сын. Фидиппид. А если не родится? /Так, значит, бит я даром, ты ж в гробу смеяться будешь? Стрепсиад (зрителям). Приятели, сдается мне, что говорит он дельно. /Должны мы в этом уступить, как видно, молодежи. /И подделом, кто был не прав, пусть на себя пеняет”. Эта тема дополнительно дублирована в “Птицах”, чей хор поет: «Вот по вашему закону не годится бить отца, /Мы же рады и довольны, если вдруг птенец к отцу /Подбежит, ударит, крикнет: “Ну попробуй, сдачи дай”». Соответственно, Непокорный сын является в птичье царство и в диалоге с другим персонажем сообщает, чем оно его так привлекает: “Непокорный сын. Порядки птичьи мне ужасно нравятся. /Я без ума от птиц, я с вами жить хочу, /Я очарован вашими законами. Писфетер. Какими же? У птиц законов множество. Непокорный сын. Да всеми. Но, пожалуй, тем особенно, /Что разрешает бить, кусать, щипать отца. Писфетер. Да, Зевс свидетель, это признак мужества /У нас,

когда цыпленок бьет родителя. Не покорный сын. Здесь поселиться я хочу поэтому, /Избить отца и завладеть добром его”.

Комедия — комедией, но какое-то отношение к афинской реальности все это имело, недаром Платон в “Государстве” негодовал по поводу того, что при демократии “отец привыкает уподобляться ребенку и страшиться своих сыновей, а сын — значить больше отца; там не станут почитать и бояться родителей...”. Аристотель в этом был с ним согласен, однако отмечал, что “всякая семья составляет часть государства”, а “из детей потом вырастают участники политической жизни”, поэтому их воспитание необходимо “поставить в соответствующее отношение к государственному строю” (“Политика”); такое понимание проблемы, несомненно, выводило детей из частно-семейной в публично-правовую сферу, нивелировавшую домашнее отцовское всевластие. Мыслители же более поздние и радикальные нередко прямо становились на сторону детей как оппонентов родителей, выдавая порой такие перлы, что и не снились старику Аристофану. Например, Секст Эмпирик приводит цитату из сочинения Хрисиппа “О долге”, где тот рассуждает о погребении родителей следующим образом: “По кончине родителей надо погребать их как можно проще, как если бы их тело ничего не значило для нас, подобно ногтям или волосам, и как если бы мы не были обязаны ему подобным вниманием и заботливостью. Поэтому если мясо родителей годно для пищи, то пусть воспользуются им...”. А в “Письмах киников” Диоген указывает, как нужно относиться к отцу и матери, пока те еще живы: “Родители не заслуживают благодарности ни за то, что они нас породили, ибо все сущее произошло от природы, ни за то, какими мы родились, так как причина этого заключается в смешении элементов. Не стоит благодарить родителей и за то, что люди появляются на свет по их выбору или намерению. Ведь роды — следствие половых сношений, в которые вступают ради удовольствия, а не с целью рождения детей. Я, провозвестник невозмутимости духа, поднимаю свой голос против жизненных заблуждений. Кому-нибудь эти речи могут показаться слишком грубыми, но сама природа и истина их подтверждают, как и жизнь людей, живущих не в чаду заблуждений, а в согласии с добродетелью”.

Конечно, подобное понимание добродетели оставалось философским экстримом, зато литературным мейнстримом эллинистической эпохи, начиная с Менандра, стал мотив подброшенного ребенка, так что родители и дети стояли друг друга. Трудно сказать, насколько ментальность в данном случае соответствовала реальности, зато можно заметить, что в литературе и искусстве эллинизма произошло настоящее *открытие детства*. Если в классический период редкие фигуры детей отличались от взрослых только размерами, а не пропорциями (даже младенцы Кефисодота и Праксителя в этом плане представляют довольно печальное зрелище), то в эллинистической живописи и скульптуре, особенно жанровой терракоте, присутствует масса детских изображений, вполне адекватных: как пластически-морфологически, так и поведенчески-психологически. Детей теперь рассматривали как детей, а не как потенциальных взрослых; с другой стороны, в отношении к ним появился элемент уважения как к взрослым, наравне с которыми они приглашались на публичные празднества и состояли членами частных культовых обществ.

А. Шпилов
Отцы и дети
в античности



Аналогичная картина наблюдается и в Риме периода империи, где права отцов поступательно уменьшаются, а детей — увеличиваются. Если в республиканское время отец был вправе казнить сына или дочь, то теперь это право было резко ограничено, а при Константине I и вовсе исключено — казнь своего ребенка была приравнена к убийству и соответствующим образом каралась. Более того, с начала принципата запрещалось выбрасывать новорожденных, при Александре Севере это старинное право отца стали рассматривать как преступление, равное убийству, при Константине I и Валентиниане I инфантицид был окончательно запрещен, а при Юстиниане оставление новорожденного преследовалось как убийство.

Ребенок теперь рассматривается не только как потенциальный гражданин, но и как актуальный человек, убийство которого представляется преступлением, а естественная смерть — несчастьем. Если раньше носить траур по младенцу было прямо запрещено, а Цицерон и даже Сенека доказывали, что смерть малолетнего ребенка есть несущественная неприятность, то уже Марциал посвящает смерти чужих и собственных детей весьма прочувствованные строки, а Плиний Младший рассказывает о безутешном отце, чье поведение представляется ему чуть ли не эскападой, но, тем не менее, свидетельствует о новом отношении к ребенку. (“Плиний Катию Лепиду привет. Я часто говорил тебе, что Регул — это сила. Если он чем-то захвачен, чего он только не сделает! Захотелось ему оплакать сына — оплакивает как никто; захотелось иметь как можно больше его портретов и статуй: по всем мастерским заказываются изображения; их делают в красках, делают из воска, из бронзы, из серебра, из золота, из слоновой кости, из мрамора. Недавно перед огромной аудиторией он читал его биографию, биографию мальчика! — прочел и разослал тысячи переписанных экземпляров по всей Италии и провинциям с официальным обращением: пусть декурионы выберут из своей среды самого голосистого прочесть эту биографию народу. Было сделано. Если бы эту силу, или как еще назвать эту целеустремленность, он обратил на хорошее, сколько добра мог бы он сделать!”.)

Ребенком теперь интересуется не только семья и родня, но и государство. Еще Нерва учредил специальный алиментарный фонд, проценты с которого шли на содержание детей бедных родителей. Такие фонды поддерживались или вновь создавались и позднее — при Траяне, Адриане, Антонине Пие, Марке Аврелии, Александре Севере, Константине I и т.д. Государственная помощь детям стала привычной и практически обязательной, так что даже сомнительные личности типа Диадумена, сына и соправителя узурпатора Макрина, стремились увеличить свою популярность, назначая детские пособия. И одними пособиями дело не ограничивалось — например, Александр Север создал целую систему государственного образования для детей малоимущих: “Он установил содержание риторам, грамматикам, врачам, гаруспикам, астрологам, механикам, архитекторам и назначил им аудитории. Он приказал дать им учеников из сыновей бедняков с назначением этим ученикам продовольственного пайка” (Элий Лампридий).

Государство ограничивает право домовладыки на продажу своих детей, поддерживая в то же время права последних. У Юлия Павла читаем: “Если кто-нибудь по причине крайней нужды или ради пропитания продал своих детей, то он этим не нанес ущерба их статусу

свободнорожденных, ибо свободного человека нельзя оценить никакой стоимостью. Не могут они также быть даны (родителями) в залог или обеспечение долга; если кредитор заведомо это допустит, он высылается". Государство не просто стоит на страже свободы, оно способствует в приобретении самостоятельности: со II в. н.э. сын мог прибегать к помощи властей для принуждения отца к отказу от patria potestas, а в эпоху Юстиниана эмансипация совершалась не только по воле домовладыки, но и императорским рескриптом и даже по факту предоставления подвластному самостоятельного положения в течение длительного времени. Причастность к публично-официальной сфере настолько нивелировала подвластное положение в сфере семейно-приватной (по Помпонию, "сын семейства в государственных делах занимает такое же место, как отец семейства"), что, начиная с определенного ранга, государственный служащий мог вывести себя из-под власти родителя: как указывает Павел, "претор может самого себя освободить из-под отцовской власти или совершить усыновление себя", а также "если сын семейства является консулом или презесом, то он может самого себя освободить из-под власти или совершить усыновление себя".

Подытоживая, можно констатировать: чем больше прав у детей, тем меньше их у взрослых, и наоборот. В дополисный и постполисный период в рамках, с одной стороны, родоплеменных, а с другой — имперско-монархических структур положение детей в юридическом, равно как и в прочих отношениях, качественно выше, чем в период классического полиса, в котором свободные граждане господствуют над несвободными негражданами. Правоспособность отцов предполагает неправоподобность детей, и наоборот, если несовершеннолетние приобретают права, то главы семейств их утрачивают в пользу родовых или государственных структур: первое свойственно для архаики, второе — для эллинистических монархий и Римской империи. Монархия на уровне ойкоса коррелировала с демократией на уровне полиса, демократия на уровне ойкоса имела своим коррелятом монархию на уровне полиса. Думается, что в эпоху гражданского равенства и ювильной юстиции будет нелишним задуматься над обратной связью ценности и доступности: придание любому праву статуса всеобщего ведет к его тотальной девальвации, равно как и над тем, что прогрессирующий приоритет государства над семьей столь же укрепляет первое, сколь и ослабляет последнюю. Поучительные примеры этого и предоставляет нам история античности.

А. Шипилов
Отцы и дети
в античности